

Дмитрий Фурманов

Красный десант



Дмитрий Андреевич Фурманов

Красный десант

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5684210*

Аннотация

«...Улагаевский десант шел победоносным маршем и ждал со дня на день, что восстанет казачество и тысячами, десятками тысяч, создавая партизанские отряды, станет к нему примыкать, помогать ему наскочить на тылы Красной Армии, громя их и уничтожая. Но ничего подобного не случилось. Измученное долгими испытаниями гражданской войны, убедившееся в подлинной силе Красной Армии, в могуществе советской власти, казачество кубанское не верило в успех улагаевской затеи, держалось спокойно и на помощь к нему не подымалось...»

Содержание

Дмитрий Андреевич Фурманов

Красный десант

Осенью, в августе 1920 года, Врангель из Крыма перебросил на Кубань несколько тысяч своих лучших войск. Этими войсками командовал Улагай – один из ближайших сподвижников Врангеля. Цель переброски заключалась в том, чтобы поднять на восстание против советской власти кубанское казачество, свергнуть ее и начать морем переправку хлеба в Крым. Белый десант высадился в трех пунктах Азовского побережья и сразу пошел вперед свободно, быстро, почти не встречая препятствий, занимая один поселок за другим, все ближе и ближе подвигаясь к сердцу области – Краснодару.

Взволновалась, встревожилась Кубань. Ощетинилась полками 9-й армии, наспех сколоченными отрядами добровольцев: один только Краснодар в эти беспокойные дни выставил шесть тысяч рабочих-добровольцев! Улагаевский десант шел победоносным маршем и ждал со дня на день, что восстанет казачество и тысячами, десятками тысяч, создавая партизанские отряды, станет к нему примыкать, помогать ему наскакивать на тылы Красной Армии, громя их и уничтожая. Но ничего подобного не случилось. Измучен-

ное долгими испытаниями гражданской войны, убедившееся в подлинной силе Красной Армии, в могуществе советской власти, казачество кубанское не верило в успех улагаявской затеи, держалось спокойно и на помощь к нему не подымалось. Правда, не по душе была зажиточным казакам продовольственная разверстка, не по душе было запрещение вольной торговли, запрещение бессовестной эксплуатации работников-батраков, но даже при всем этом недовольстве богачи казаки не осмеливались выступать против советской власти, как выступали они против нее в 1918 году. И все же опасность от белого десанта была велика. Надо было торопиться его остановить, задержать, а потом ударить и отогнать...

«Не прогнать, а уничтожить!» И Кубань готовилась лихорадочно к этой новой трудной задаче.

В двадцатых числах августа неприятель стоял всего в сорока или пятидесяти верстах от областного центра, Краснодара. Был принят целый ряд срочных мер. В числе этих мер – посылка красного десанта по рекам Кубани и Протоке к неприятелю в тыл, верст на сто пятьдесят от Краснодара, к станице Ново-Нижестеблиевской: там находился тогда штаб генерала Улагая, командовавшего белым десантом. Начальником красного десанта был назначен тов. Ковтюх, комиссаром назначили меня.

Нашей задачей было – нанести неприятелю внезапный

стремительный удар в тылу, вырвать у него инициативу наступления, произвести панику, разрушить все планы...

Операция удалась.

На Кубани, у пристани, стояли три парохода: «Илья Пророк», «Благодетель» и «Гайдамак». Пароходишки дрянные, старые, на ходу тяжелые: через силу протаскивались по семь, по восемь верст в час. На этих пароходах и на четырех баржах должен был отправиться в неприятельский тыл наш красный десант.

Целый день до вечера на берегу царило необыкновенное оживление: за несколько часов надо было собрать живую силу, вооружиться, запастись продовольствием, что можно – починить... Подъезжали автомобили, скакали кавалеристы, подвозили артиллерию и отчаянно галдели, возясь с нею на песчаном скате; гремя и дребезжа, врывались в говорливую сутолоку военные повозки с хлебом, фуражом, со снарядами; по чьей-то неслышной команде подбегали кучки красноармейцев, живо взваливали на спины тугие мешки и, согнувшись, дугою, качались на речных подмостках, пропадали в зияющих темных дырах пароходов... Ящики со снарядами брали по двое, а те, что потяжелее, – и по четверо, тихо снимали, тихо несли, тихо опускали на землю, – такова была команда: «Снарядов не бросать!» Ну зато уж над хлебными караваями потешились вволю: их, словно мячики, перебрасывали из рук в руки, старались друг дружку загнать, опе-

редить в ловкости и быстроте. А иной раз эти мячики давали здоровенного тумака зазевавшемуся ротозею и через его голову проскальзывали в руки дальнего соседа, ждавшего с лукавой усмешкой.

Одному такому ротозею, стоявшему на подмостках, над водой, сбили фуражку прямо в реку, дружно хохотали, острили.

– Эка буря поднялась, одежду рвет... – кричит один.

– Плыви скорей, что смотришь! – горланит другой.

А третий, показывая на лодку, смеется:

– Эй, ударь веслами, попытай счастья...

После этого случая ребята снимали шапки: те, что были на берегу, бросили их на землю, а стоявшие на подмостках и близко к воде – пихали за пазуху, за пояса.

Погрузка продолжалась. Подходили новые команды оживленными стройными рядами, а потом расплывались, пропадали в толпе, – и эти новые также начинали бегать, таскать, браниться, хохотать. С инструментами в руках и на плечах, готовая к работе, подошла рабочая артель и, пошучивая, пересмеиваясь с красноармейцами, исчезла в прожорливой пасти парохода. Вездесущие торговки продавали на берегу спелые сочные арбузы; мальчишки, юркие и горланистые, шныряли повсюду и предлагали нараспев папиросы. Шпалерами стояла в отдалении бездельничающая публика, недоуменно смотрела на все эти приготовления, выспрашивала, высматривала, вынюхивала. Потом каждый разносил по городу

вздорные слухи, уверяя, что видел все «своими собственными глазами». Были тут, как это водится, шпионы, но даже и они не могли проникнуть в тайну таких по виду шумных, открытых и в то же время совершенно секретных приготовлений: что за суда, кого, зачем и куда они везут, – этого не знал никто. Тайну мы не раскрывали целиком даже командному составу, даже ответственным работникам.

Тайна в нашем деле была крайне необходима. Тайну надо было хранить крепко, ибо, выпорхнув в Краснодаре, она через несколько часов опустилась бы в улагаевском штабе.

За время гражданской войны белое казачество отлично приучилось поддерживать свой казачий «узун-кулак» (так называется у киргизов Семиречья обычай – всякое важное событие немедленно передавать от кишлака к кишлаку¹). Получил киргиз весть – вскакивает на коня, мчится по равнинам, пробирается по горным тропкам – и в результате за короткое сравнительно время вся пустынная и дикая округа оповещена). Если бы Улагай заранее узнал про красный десант – всей операции нашей была бы грош цена; приготовиться к встрече и обезвредить нас не стоило бы ему ровным счетом никаких трудов – речные мины, десятка полтора пулеметов в камыши да два-три орудия, взявшие на картечь, – вот и могила десанту; в узкой реке трудно было бы спастись.

Тайна была соблюдена.

Вопросы любопытных разбивались о мычание незнаю-

¹ Селение.

щих. А бойцы – эти даже и не любопытствовали; разве только какой-нибудь курносый и веснушчатый пулеметчик Коцюбенко толкнет локтем соседа и молвит:

– На подмогу? А?

– Известно, не против своих, – оборвет его недовольный сосед.

На этом разговор и кончается.

Красноармейцы были набраны молодец к молодцу: добровольцы, члены профессиональных союзов, рабочие, комсомольцы, партийно-мобилизованные, – словом, такие ребята, с которыми можно было начинать любое трудное дело. Всего набралось восемьсот штыков, девяносто сабель, десяток пулеметов да артиллеристы около макленовского взвода и двух легких полевых орудий. Отряд небольшой, но ядреный.

После обеда, часам к четырем, все уже было готово к отплытию: втащили последние ящики снарядов, загнали автомобили, завели усталых, взмыленных коней.

Дожидались – не подойдут ли медикаменты, но с этим добром в подобных случаях уж, видимо, конец всегда один: не подошли. И ехать пришлось, можно сказать, с совершенно пустяковыми запасами.

На баржи, на пароходы втащили подмости, побросали грязные мокрые канаты... Бабы закатывали в мешки непроданные арбузы, взваливали на плечи, уходили. Берег пустел, зеваки расходились... На баржах, где навалены были седла, мешки, канаты, сено, арбузы, солдатские сумки, – в самых

разнообразных позах расположились бойцы: грудно, шумно, весело.

На одной барже, у самого борта, свесив ноги, сидел Ганька из комсомола, по профессии наборщик. Ему восемнадцать лет. Лицо у Ганьки хорошее, чистое, а глаза светлые и умные. Он хорошо умеет играть на гитаре, легок на ноги, отлично пляшет и поет звучно, широко и свободно. Ганьку из комсомола хотели направить в студию – развивать свои таланты, да тут вот приплыл Улагай – не до ученья, надо идти воевать. Он даже и не раздумывал над тем, идти ему или остаться. Когда в комсомоле объявили набор добровольцев, он записался одним из первых и ни на секунду не знал колебания, – наоборот, всеми чувствами, мыслями и волей вдруг напрягся в ожидании чрезвычайных, удивительных событий. Он на фронте еще не бывал никогда и представлял себе этот фронт совершенно фантастически.

Ганька молчал, плевал на воду и любовался, как крошечные рыбки подскакивали и глотали его белую, творожную слюну.

Позади Ганьки на корточках сидел матрос Леонтий Щеткин. Глаза, как у совы, круглые, водянистые, когда надо – добрые, а когда и жестокие. Острижен наголо; широкая открытая грудь загорела, как медный таз. Щеткин молча озирался кругом, пускал залпами махорочный дым и долбил себя кулаком по колену...

Около самых его ног на куче сена покоилась черная куд-

рванная голова Танчука, лихого наездника, красивого бледнолицего белоруса. Самым дорогим существом на этой барже был для Танчука его пегий конь, именем Юсь.

Отчего он назвал его Юсь – и сам объяснить не мог, но уж, верно, потому, что когда Танчук произносил часто: Юсь-юсь-юсь – получался свист, и это ему нравилось: он начинал прихлопывать, притоптывать и высвистывать плясовую. Дважды раненный, Юсь неоднократно спасал жизнь своему бледнолицему седоку и уносил его даже от быстроногих казацких коней.

Танчук лежал с открытыми глазами, глодал арбузную корку, сопел и отплевывал в сторону.

Рядом стоял эскадронный, по фамилии Чобот, – высокий, мускулистый, могучий. Полуголодное бродяжничество из города в город, из конца в конец по широкой Руси, нескладная семейная жизнь – ничто не убило в нем бодрого духа, какого-то ясного, торжественного отношения к жизни. Казалось, будто у этого человека никогда не было и нет ни несчастий, ни горя; будто у него одна сплошная радость, которая так вот открыто льется на волю и сквозит во всем: в его словах, в его движениях, в его манере обращаться с людьми и в том, как легко и весело берется он за всякое дело.

Чобот стоял, чему-то улыбался – верно, своим мыслям – и смотрел вверх по Кубани...

Тут же был веснушчатый желторотый Коцюбенко. Жиденький, маленький – он словно встал в землю и стано-

вился еще меньше, когда начинал что-нибудь говорить своим глухим, могильным голосом. Бедняга был болен чахоткой. Лечился, но мало, плохо, неисправно. Страшная болезнь подбирала его под себя, готовилась удушить. Коцюбенко это знал и, когда был один, становился мрачен, тосклив и задумчив. А на людях все торопился во всем и всех перекричать, но как-то невинно, как-то незлобно – и на это никто не обижался. Когда он силился «громыхнуть», как острил про него огромный Чобот, все невольно притихали, и на лицах появлялась терпеливая, снисходительная улыбка.

– Ишь, черт, не балуй! – крикнул Танчук, увидев, как Юсь прицеливался укусить соседа мерина.

Юсь остановился, словно вдумываясь в то, что услышал, дернул два-три раза теплыми шелковистыми ушами и отвернулся от мерина.

– То-то, – объявил торжественно Танчук.

– А што – «то-то»? – спросил усмешливо Чобот.

– Не видишь? Слово понимает...

– Ну, вижу: стоит как стоял, – поддразнивал Чобот.

– Грызть хотел, ерыга...

– Все чего-нибудь хотят, – философически брякнул Щеткин.

На минуту все замолчали.

– Товарищи, – обернулся к ним Ганька, – а верно, что лошадь привыкает к хозяину и понимает, што он ей говорит, – правда? А?

– Так вон, хоть бы сичас... – начал было Танчук.

– Ясно, – прогремел Чобот, перебивая его. – Иной скажешь, дескать, посторонись-ка, а она и жмякнет тебе копытом на ногу... все понимает, да еще как...

– Нет, товарищи, понимает, – вмешался Коцюбенко, – только кормить надо. Ты кормишь, тебя и понимает. И слушает одного тебя. У отца вороной жеребец – одного его подпускал, а соседу, Антипу, руку прогрыз, мясо вырвал... Один отец ходил – с ним, как ягненок.

– Кто кормит, тот любит, – поддержал его Ганька. – А любовь все понимают. Поди-ка пни лошадь ни за што, думаешь, не обидится? Как же... Сразу поймет... А холку потрепли – замрет, ждет, что станут еще трепать... Все, братец, понимает.

– Непременно так, – поддержал и Танчук.

По берегу шла девушка в розовом платке; она смотрела на баржи и кого-то, видимо, искала.

– Ай, Дуня-Груня, – крикнул Чобот, – не видишь, что ли? Девушка улыбнулась и шла дальше.

– Хоть платочек на дорогу подари, – смеялся он.

– И глядеть-то не хочет, – ввернул Щеткин.

– Тебя видит, пугается... – бросил Чобот.

– Сам-то хорош, кобыла березовая...

Все рассмеялись.

– Ганька, – сказал Коцюбенко, – хочешь, гармошку принесу, петь будешь?

– Чего же не петь, буду, – согласился Ганька.

Коцюбенко пропал среди мешков и коней и скоро воротился с гармонью. Сел на бревно и, как полагается, минуту или две пробовал голоса, тянул ноты, мурлыкал что-то про себя, брал всевозможные аккорды.

– Ну, што? – вытянулся он вопросом к Ганьке.

– Што хочешь...

– Давай – «За острова на стержень»...

– На стрежень, – поправил Ганька. – Только помогать – один не стану...

– Начинай! – согласились разом Чобот и Танчук.

Ганька запел. Сначала тихо, будто пробуя и приноравливаясь, потом громче, громче, громче...

Он уже поднялся на ноги, лицом обернулся к реке и пел не людям – волнам Кубани.

Гармошка подыгрывала плохо; Коцюбенко почти совсем не умел на ней играть, но это дела не портило. Пока Ганька запевал – Коцюбенко притихал, вслушиваясь в серебряный Ганькин голос, а когда он хотел дать гармошке ход – было уже поздно: ребята подхватывали громовыми голосами вторую половину куплета и не давали Коцюбенко проявить себя как следует... Уж вся баржа пригрудила к певцам и слилась с ними в общей песне... Ганька заканчивал и повторял первый куплет:

Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны...

Бурею вырвались грудные, сильные голоса:

Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...

В эту минуту певцов качнуло в сторону. Пароходы – незаметно, бесшумно, без свистков – снялись с места, отчалили от берега, потянули за собой баржи...

Словно огромные чудовища, длинной лентой вытянулись суда по реке. Было в этом зрелище что-то одновременно и торжественное и жуткое: отряд уплывал в неприятельский тыл.

Этого никто не знал, но уже чувствовали и понимали все по характеру стремительных сборов, что предстоит что-то значительное и очень важное. Беззаботная веселость, царившая на баржах и пароходах, пока они стояли у берега, уступала теперь свое место какому-то трезвонапряженному и сосредоточенному состоянию. Это была не трусость, не растерянность, не малодушие – это была произвольная психологическая подготовка к грядущему серьезному делу. Во взглядах, коротких и полных мысли, в движениях, быстрых и нервных, в речах, обрывистых и сжатых, – во всем уже чувствовалось нечто новое, чего совершенно не было, пока стояли у берега; это состояние нарастало прогрессивно по мере продвижения и принимало все более и более определенные

формы мучительного ожидания.

На пароходах, где в общем и целом про операцию знали больше, чем на баржах, все повысыпали на верхние палубы и, показывая в разные стороны, определяли, где находится теперь неприятель, где расположено то или иное болото, где проходят дороги и тропы...

Кубань кружилась и вилась между зелеными берегами. Вот уже миновали корниловскую могилу – крошечный холмик на самом берегу. Все знакомые, такие памятные исторические места! Эти берега сплошь политы кровью: здесь каждую пядь земли отбивали с горячим боем у царских генералов наши красные полки.

Дальше, все дальше плывет отряд...

Широкими темными пятнами раскинулись в отдалении станицы. Лесу нет – кругом идут просторные, теперь уже пустые, сжатые поля.

Кое-где трава особенно сочна и зелена – это болота; порою встречаются камышовые заросли; но здесь их еще немного – они будут дальше, в завтрашнюю ночь; изредка блеснет свинцовое лоно лимана – вокруг него уютятся, как пасынки, мелкие корявые, уродливые кустарники...

Все ниже и ниже опускается темная августовская ночь. Вот уже и берега пропали; вместо них остались по краям какие-то однообразные смутные полосы: ни трав, ни камышей, ни кустарника – не видно ничего. Медленно движется караван судов. Передом, как собачонка перед сердитым хо-

зьяном, юлит и кружится во все стороны моторная лодка: ей дана задача все видеть, все слышать, знать все, что ожидает впереди, а главным образом высматривать – нет ли попятанных мин.

Эта первая ночь еще не грозила большими опасностями, надо было к утру добраться до станицы Славянской, что верстах в семидесяти – восьмидесяти от Краснодара, если считать по воде. В Славянской – наши; берега, следовательно, до самой станицы должны быть тоже наши. Впрочем, это последнее предположение может быть и ошибочным: неприятель, отлично зная места, все потаенные дорожки и камышовые тропы, часто заскакивал в наш тыл и оказывался там, где его совсем не ожидали. Так мог он и теперь заскочить на эти берега, мимо которых мы проплывали. Но тихо: ни стрельбы, ни шума. Только слышны всплески воды под колесами пароходов, да изредка конь заржет, обиженный беспокойным соседом.

Опустели палубы пароходов – люди спустились в каюты. Сидели молча, говорить не располагало. Иные дремали, просыпаясь при каждом толчке; иные сидели, упершись взорами в темные стекла, и курили одну сигарку за другой. На баржах тоже тихо: притулившись к седлам, к мешкам, к повозкам или прижавшись друг к другу – спят красные бойцы. Сопят и храпят вперегонки: закрыв глаза, чрезвычайно странно послушать этот своеобразный концерт. Что-то фыркает и хрипит внутри пароходов, но так сдержанно, так тихо, что едва

ли слышно на берегу.

Все дальше и дальше плывет наш красный караван.

Когда густая мгла стала подниматься от земли, а на востоке чуть забрезжила заря – мы подплывали к Славянской.

У самой станицы, над рекою – огромный железнодорожный мост. Его взорвали белые, когда увидели, что положение их безнадежно. Чудовище рухнуло в воду, но крайние пролеты устояли и под углом накренили средний пролет, лежавший на дне. Под этими крайними пролетами и надо было провести наши суда. Задача нелегкая, ибо река здесь сильно обмелела. Работы хватило до самого вечера: вымеривали, выщупывали, проверяли каждый шаг. Наконец все готово к отплытию. Разместились новые бойцы, которых забрали из Славянской. Теперь уже всех набиралось около полуторы тысячи человек. Погрузили кое-что из припасов – и снова в путь. Десант разбили на три эшелона. Во главе каждого поставили на время пути своего начальника; разъясняли, что предстоит за путь, чего можно ночью ожидать.

Лишь только смерклось, так же тихо и бесшумно, как вчера, отчалили от берега тяжелые пароходы. В станице никто не заметил отхода: весь день она была оцеплена войсками, – ни в станицу, ни из нее никого никуда не пускали. Тайна и здесь была сохранена.

Тайна спасла жизнь красному десанту.

От Славянской до Ново-Нижестеблиевской, где стоял ула-

гаевский штаб, по Протоке считается верст семьдесят. Ехать надо целую ночь. Время было рассчитано таким образом, чтобы к месту высадки попасть на рассвете, в тумане, когда все еще погружено в глубокий сон. Врага застать надо было врасплох, появиться совершенно неожиданно.

Эту последнюю мучительную ночь никогда не забыть участникам похода. Пока ехали до Славянской – здесь все-таки были свои места, и неприятелю проникнуть сюда было трудно. А вот теперь, за Славянской – среди лиманов и плавней, по зарослям и камышам, которыми укутаны мокрые низкие берега, – там всюду кишат вражьи дозоры и разъезды. Положение крайне опасное. В таком положении и меры принимать надо было особенные.

Перед тем как отплыть пароходам, на берегу собрались в кучу руководители отряда и совещались о необходимых мерах предосторожности. Тут был начальник Ковтюх, имя которого так неразрывно связано с Таманской армией. Эту многострадальную армию по горам и ущельям он выводил в 1918–1919 году из неприятельского кольца. Кубань, а особенно Тамань отлично знают и помнят командира Епифана Ковтюха. Сын небогатого крестьянина из станицы Полтавской – он за время гражданской войны потерял и все то небольшое, что имел: хату белые сожгли дотла, а имущество разграбили начисто. Всю революцию Ковтюх – под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, пробраться во

вражий тыл, надо проделать не только смелую – почти безумную операцию. Кого же выбрать? Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь. Большие рыжие усы словно для того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит – командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной полуполюгендарными героями. Вокруг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий рыжий ус.

С ним рядом стоит первый, ближайший, лучший помощник – Ковалев. Ему перекосило от контузии лицо, на сторону своротило скулу, оттянуло верхнюю губу. Не запомнить Ковалеву, сколько раз побывал он в боях, сколько раз ходил в атаку. Даже не подсчитает точно и того, сколько раз был ранен: не то двенадцать, не то пятнадцать. Я не знаю, есть ли у него живое место, куда не шлепнулась бы пуля, не ударился бы осколок снаряда или взметнувшаяся земля. И как только выжил человек – не понять. Худой, нездоровый, с бледным, измученным лицом, обрамленным мягкой шелковистой бородкой, он представляет собою образец истинного воина: по своей постоянной готовности к любому, самому рискованному делу, по своей дисциплинированности, по личному му-

жеству и благородству. Числясь в полной отставке, он никак не мог оставаться вне боевой обстановки и теперь направлялся с нами совершенно добровольно на опасное дело.

Я видел его потом в бою – такой же веселый, ровный, как всегда. Самое большое дело он совершал с неизменным хладнокровием и докладывал об этом деле, как о пустяке, не стоящем внимания. Таких Ковалевых, чуть заметных, но подлинных героев, – много в Красной Армии. Но они всегда скромны, о себе молчат, на глаза начальству не лезут – и остаются в тени.

Против Ковалева – командир артиллерии Кульберг. Я ближе узнал его лишь потом, в горячем бою, когда у нас все было поставлено на карту; такой твердости, такой настойчивости можно позавидовать: кремень – не человек. А посмотреть – словно козел в шинели, да и голос, как козлиный, дрожит, дребезжит, рассыпается горохом.

Были еще два-три командира. Совещались недолго; почти все было решено и придумано еще днем.

– Позовите Кондру, – приказал Ковтюх.

– Кондра... Кондра... Кондра... – покатилося из уст в уста.

Быстрой твердой поступью подходит Кондра.

– Явился, что прикажете?

Любо посмотреть на бравого молодца: глаза горят отвагой, а рука то и дело опускается на эфес кривой чеченской шашки. На самом затылке мохнатая белая шапка: открылся

чистый высокий лоб, еще яснее стали ясные быстрые глаза.

– Слушай, Кондра, – сказал Ковтюх. – Ты должен знать, что дело, на которое идем, – опасное дело. По плавням белые. Куда ни глянь – в камышах, по луговинам, над лиманами – у них везде стоят, разъезжают дозоры... Знаешь ты эти места?

– Ну кто же их знает, как не я? – осклабился Кондра. – До самого Ачуева, до моря – тут все болота, все дорожки знакомые... Ходил, знаю...

– А знаешь, так вот что, – молвил Ковтюх, – нам некогда медлить... Суда готовы плыть. Надо взять тебе десятка три-четыре лучших из ребят, самых смелых, да и место знающих, – взять их с собой и – фью... (Ковтюх свистнул и пальцем указал куда-то неопределенно вперед).

– Понимаю...

– А понимаешь, – и толковать больше не будем. Возьмешь погоны офицерские, кокарды, светлые пуговицы: у меня все заготовлено... А ну! – обратился он к одному из стоявших.

Тот мигом, к пароходу и скоро вернулся с небольшим узелком.

– Бери, – подал Ковтюх Кондре узелок. – Только живо: разукрашиваться будете не здесь – когда отъедете. Выдели надежного – он поедет по левому берегу, дашь ему человек десяток – тут не так опасно. А сам направо. Оглядывайся, не проморгай. Коли что неладно – знаешь наши сигналы? Держись ближе самого берега.

– Понимаю...

– Так запомни: ежели не очистишь берегов – нам назад не возвращаться...

– Так точно... Можно идти?

– Иди... Да живо...

Кондра так же быстро, как и появился, исчез на барже. Скоро стали сводить коней. Потом сбились в кучу. Потолковали с минуту, разбились на две партии... И видно было, как быстрою рысью поехал Кондра, а за ним человек двадцать пять бойцов.

В другую сторону отделилась группа человек в пятнадцать, и во главе ее узнал я Чобота: могучий, широкий, – как богатырь сидел он на рослом вороном коне. А рядом с ним Ганька – худенький, гибкий, как тополевыи сучок. Со всех судов смотрели молча красноармейцы вслед удалявшимся товарищам; не спрашивали, не допытывались – все было понятно и так; не было ни шуток, ни смеха.

Отъехал Кондра версты полторы, спешился со своими ребятами и говорит:

– Вот тут разбирайте, кому что придется, только с чинами не спорить, – и подал им узелок.

Ребята развязали его, извлекли оттуда белогвардейские наряды – погоны, кокарды, пуговики, ленты, – а через пять минут отряда было не узнать.

Сам Кондра оборотился полковником, и когда надувал губы, делался смешон и неловок, словно ворона в павлиньих

перьях. Тьма еще не проглотила вечерние сумерки, но дорожку различать можно было лишь с трудом. Сели снова на коней, тронулись.

– Хлопцы, – внушал Кондра, – не курить, не кашлять громко – будто нас вовсе нет...

Ехали в тишине. Чуть слышно хлопали по влажной и топкой земле привычные кони. Лишь только они начинали вязнуть – и вправо и влево отъезжали всадники, выскакивали, где крепче, где настоящая дорога... Так ехали час, два, три... Никто не попадался навстречу; в камышах и по плавням – никаких признаков жизни. Черным, густым мраком закутались равнины; над болотами – тяжелый седой туман. Вот навстречу донеслись какие-то странные звуки, которых не было до сих пор: так гудит иной раз телефонная проволока, может быть, это где-нибудь вдалеке падает ручей...

Кондра остановился, остановились и все. Он повернул ухо в ту сторону, откуда доносились звуки, и различил теперь ясно гомон человеческой речи...

– Приготовиться! – отдана была тихая команда.

Руки упали на шашки. Продолжали медленно двигаться вперед... Были уже отчетливо видны силуэты шести всадников – они ехали прямо на Кондру.

– Кто едет? – раздалось оттуда.

– Стой! – скомандовал Кондра. – Какой части?

– Алексеевцы... А вы какой?

– Комендантская команда от Казановича...

Всадники подъехали. Увидели погоны Кондры и почти-тьельно дернулись под козырек.

– Разъезд? – спросил Кондра.

– Так точно, разъезд... Только – кто же тут ночью пойдет?

– Никого нет, сами проехали добрых пятнадцать верст.

В это время наши всадники сомкнулись кольцом вокруг неприятельского разъезда.

Еще несколько вопросов-ответов; узнали, что дальше едет новый дозор. Примолкли. Тишина была на одно мгновение... Кондра гикнул – и вдруг сверкнули шашки... Через пять минут все было окончено.

Ехали дальше, и с новым дозором был тот же конец...

Так за ночь изрубил мужественный Кондра шесть неприятельских дозоров и не дал уйти ни одному человеку.

Чоботу тоже встретились два дозора – судьба их была одинакова; только со вторым дозором чуть не приключилась беда: под раненым белым всадником рванулся конь и едва не унес его. Пришлось вдогонку послать ему пулю, – она сняла беглеца на землю.

Этот выстрел Чобота мы слышали с парохода и насто-рожились; предполагали, что завязывается перестрелка, что дозору удалось уйти, что враг примет живо какие-то новые меры.

Мы все стоим на верхней палубе и ждем... Вот-вот послышатся сигналы Кондры или Чобота. Но нет, ничего не слышно, на берегах могильное спокойствие.

Всю ночь до утра мы дежурили на верхних палубах. Все чудилось, что в камышах кто-то передвигается, что лязгает оружие, слышен даже глухой и сдержанный шепот-разговор. Здесь близко берега – и можно рассмотреть мутное колыхающееся поле прибрежных камышей.

– Как будто что-то... – начинал один, присматриваясь во мглу на берег и указывая соседу.

– А нет, – отвечал тот, – пустое...

Но потом, всмотревшись пристальнее, продолжал:

– А впрочем... Да, да... Как будто и в самом деле...

– Ты вот про то, что колышется, как штыки?

– Да, про них... Всмотрись... Только что это? – и здесь, смотри, и здесь, и дальше все те же штыки...

– Э, да ведь это все камыши, волнуются...

И отводили взоры от берега, но только на мгновение, а потом – опять, опять штыки, глухой и тихий разговор, стальное лязганье... Ночь полна страшных шорохов и звуков... Каждый силится остаться спокойным, но спокойствия нет. Можно сохранить спокойное лицо и голос, и движения, но мысль бьется лихорадочно, чувствительность обострена до крайности. Рассуждали о том, что надо делать, если вдруг из камышей откроется пулеметный огонь. А можно ведь ожидать и большего: там сумеют подкатить орудия и возьмут нас на картечь... Что делать тогда?

Предполагали разное. Только ясно было каждому, что тогда уж надежды на спасение мало: в узкой реке не повернуть-

ся неуклюжим судам, а идти вперед – значит, еще дальше просовывать голову в мертвую петлю. Но что же делать?

Соглашались на том, что надо быстро причалить к берегу, сбросить подмости и вступить в бой...

Легко сказать – «вступить в бой». Пока подплывали бы к берегу – неприятель всех мог перекосить пулеметным огнем: ему из камышей прекрасно видно, как на баржах вплотную, кучно расположились наши бойцы.

Они тоже не спали; теперь, когда отъехали от Славянской, уже в пути, командиры объясняли им предстоящую операцию со всеми ее трудностями и опасностями, которые только можно было предвидеть. Где уж тут было спать – в такие ночи не до сна; глаза сами ширятся, и взоры вперяются в безответную тьму.

Прижавшись друг к другу, они во всех концах вели тихую прерывистую беседу:

– Холодно...

– Дуй в кулак – жарко будет.

– Дуй сам... Вот он как дунет – пожалуй, и впрямь отогрешься. – И красноармеец кивнул головою на берег, в сторону неприятеля.

– Близко он тут?

– Кто его знает... Говорят, везде по берегу ходит... Да вот тут, в камыше, лежит... Наши уехали искать...

– Кондра уехал?

– Он. Кому же? Все дыры тут знает...

– Парень – голова...

– Ну, куда ты... Мы с ним еще на ерманском были – три Георгия и тогда приплодил.

– Надо быть, нет никого – тихо что-то...

– Али тебе орать будут? Вот чикнут с берега – и баста.

– Нет, говорю – от Кондры ничего не слышно.

– Как же ты услышишь? Ироплан, што ли, прилетит?

– А что это иропланов, братцы, нет нигде?

– Как нет! Летают... Они за городом лежат, а летают, когда солнце чуть восходит – оттого и не видишь.

– Вот что... А отчего это они летают?

– Кто их знает; пару, надо быть подпускают.

– У тебя табачок-то с собой?

– Да курить нельзя; тебе же ротный говорил.

– И верно... А в кулак, – я думаю, – пройдет, не видно.

Запротестовали сразу три-четыре голоса. Курить не дали.

– Скоро подъедем?

– Куда?

– А где вылезать надо.

– Как станет – значит, и подъехали.

Такие короткие, сдержанные разговоры шли на всех баржах.

Один вопрос цеплялся за другой – часто совершенно случайно, от слова к слову...

Все так же тихо, почти бесшумно плыли во тьме караваны судов. На заре, когда еще густым облаком стоял тяжелый

речной туман, первый пароход причалил к берегу... Одно за другим подходили суда и врезались в прибрежные камыши и высокую траву.

До станицы оставалось всего две версты. Зарослей на берегу не было, и открывалась широкая поляна, где удобно было разгрузиться и строить войска. Знатоки этих мест говорили, что более удобной пристани для разгрузки не найти, что эта поляна – единственная на всем протяжении от самой Славянской.

Живо побросали подмостки – и с удивительной быстротой все очутились на берегу. Лишь только вступили на твердую почву – вздохнули свободно и радостно: теперь – не на воде, теперь стрелки и всадники сумеют постоять за себя и даром жизнь не отдадут! Скатили орудия, свели коней. Командиры построили части. Во все концы поскакали разведчики. Нервность пропала и уступила место холодной серьезной сосредоточенности. Все делалось быстро, так быстро, что приходилось только изумляться. Бойцы понимали, как это было необходимо в такой обстановке.

Командиры верхами окружили нас с Ковтюхом. Два-три напутственных совета, и – марш по местам! Уж все готово. Отдана команда идти в наступление. Впереди рысью пошла кавалерия. Заколыхались цепи.

На долю Ганьки выпала задача промчаться метеором по улицам станицы, все рассмотреть и доложить. Он несся,

словно птица, мимо густых садов, мимо домов с закрытыми ставнями, пронесся по главной площади, у храма, и, исколесив станицу, возвратился и доложил, что «все в порядке». Когда стали расшифровывать это замечательное «все в порядке», оказалось, что обреченная станица спит мертвым сном. Она ничего не ждет, ничего не знает. Кое-где по углам дремлют часовые, они сонными глазами смотрели вслед скакавшему Ганьке и считали его, верно, за гонца с позиции... Жители тоже спали, только изредка попадалась какая-нибудь сгорбленная старуха казачка, тащившаяся с ведром к колодцу. Видел Ганька и аэроплан – он был на площади, у церкви. Видел за изгородью одного большого дома мотоциклетку и два автомобиля.

Когда он, запыхавшись и торопясь, все это пересказал, было совершенно ясно, что мы движемся, не замеченные врагом.

Удар был рассчитан на внезапность. Подойти надо было совершенно неожиданно, атаковать оглушительно. В то же время необходимо было создать впечатление навалившихся крупных частей, хорошо вооруженных, с богатой артиллерией. С другой стороны, нужно было организовать засады, неожиданные встречи, картину полного окружения и вселить в неприятеля убеждение в полной безнадежности положения. Эффект неожиданного удара должен был сыграть здесь исключительную роль.

В конце поляны, под самой станицей, остались еще це-

лые полосы невыжженных камышей. Здесь пробраться было невозможно, и пришлось загибать, идти окружным путем. Разгрузка, сборы, приготовления, самое движение до станицы заняло около двух часов. Станица все еще не пробуждалась. Туман рассеивался, но медленно, и над рекой продолжал держаться таким же густым белесоватым облаком, как прежде. Протока у самого селения загибалась в западном направлении и вела на Ачуев, к морю. По берегу, до станицы и за станицей, шла езжая дорога. По этой дороге и направилась часть наших войск. Сюда же, глубже, во главе с Чоботом, отправлен был в засаду эскадрон кавалерии, которому дана была задача рубить неприятеля, если он в случае паники бросится бежать, спасаться на Ачуев.

Части десанта были расположены в своем движении таким образом и с таким расчетом, чтобы одновременно могли дойти до станицы с разных сторон и одновременно же открыть огонь.

Тогда же должна была загроыхать артиллерия.

Неприятельские силы, расположенные в станице, могли нам оказать стойкое сопротивление ввиду своей достаточно высокой боевой доброкачественности (мало надежными были только пленные красноармейцы). Там стояли части корпуса генерала Казановича: Алексеевский пехотный полк, запасный батальон того же полка, Алексеевское и Константиновское военные училища и Кубанский стрелковый полк. Кроме того, в станице был расположен славный штаб улага-

евского десанта со всеми своими разветвлениями и другие, более мелкие штабы и тыловые учреждения. При всем том следовало ожидать враждебных действий со стороны станичного населения. Ново-Нижестеблиевская была у нас на худом счету.

Около семи часов утра, когда части вплотную подошли к станице, раздался первый орудийный выстрел. Затем открылась оглушительная канонада; орудийные громы слились с пулеметным и ружейным огнем. Части шли вперед. Неприятель, не понимая в чем дело, совершенно растерялся и никак не мог организовать защиту. Открытый по нашему десанту беспорядочный огонь не приносил почти никакого вреда. Красная пехота напирала и одну за другою занимала улицы станицы. В центре пришлось столкнуться с неприятелем, готовым к обороне.

Наши батальоны в этом месте вел Ковалев. Он отлично понимал, как опасно теперь промедление. Он знал, что паника в неприятельских рядах может миновать, и тогда с неприятелем справиться будет нелегко. В такие минуты бывает достаточно одного находчивого командира, который властно остановил бы бегущих, который понял бы мигом, в чем корень дела, и уяснил бы себе отчетливо, как и с чего следует начинать сию же минуту. Паника усиливается обычно множеством случайных и противоречивых приказов, которые отдаются сплеча и сгоряча: один приказ опровергает другой, запутывает, затуманивает дело. Именно в такой стадии бес-

планного метания находился теперь неприятель. Но уже были первые признаки его начинающейся организации. Надо было ловить момент.

Ковалев отдает команду идти в атаку. Сам с винтовкою в руке остается на левом фланге. На правом идет Щеткин. У него так же широко открыты глаза, как и там, на барже, во время песни. Только теперь в них горят огни жестокого, беспощадного хищника. Весь лоб, до переносицы, перерезала глубокая складка. У Щеткина тяжелая поступь – он словно и не идет, а по заказу трамбуется землю. Около него идти спокойно – родится какая-то твердая уверенность, что с ним не пропадешь, что Щеткина невозможно свалить с ног. Он отдает команду коротко, четко, сердито...

Неприятель сгрудился возле садов. Было видно, что он еще не выстроился как следует, что не нашлась еще могучая, организующая рука, которая смогла бы толпу превратить в стройные упругие цепи.

Скорее, скорее... К этой толпе отовсюду – из сараев, из халуп, из садов и огородов, по улицам и закоулками сбегались солдаты. Толпа растет у нас на глазах. Она уже разворачивается, принимает форму. Еще минута – и мы встретим стену стальных штыков, море огня – меткого, уничтожающего...

– Ура! – проносится по нашим рядам.

Винтовки наперевес, бойцы мчатся на толпу... Там замешательство. Многие кинулись бежать кто куда. Иные все еще продолжали стрелять... Почти все побросали винтовки

и стояли, ждали с поднятыми вверх руками. Звенели кругом пули, то здесь, то там вырывая жертвы. Одним из первых, прямо в лоб, был убит Леонтий Щеткин.

Вдруг от плетня отделилось человек пятьдесят и кинулось нам навстречу... Это заставило отпрянуть назад передовую нашу цепь. На минуту произошло замешательство, но Ковалев уже отдал новую громкую команду:

– Вперед, ребята, вперед, ура!..

И рванулись как бешеные красноармейцы... Опрокинули бегущих им навстречу белых солдат, смяли их под себя, – дальше ничего не было видно...

Когда эта полсотня кинулась от плетня – те, что побросали винтовки, остались недвижимы и за ними не побежали; они стояли и ждали пощады с высоко вздернутыми кверху руками. Красные бойцы окружили пленников. Живо отогнали их на другое место, стояли, не трогали... Брошенное оружие собрали, сложили в груды, а через несколько минут пригнали подводы, погрузили и увезли к берегу. Всюду, куда ни глянь, валялись раненые – стонали, хрипели, иные кричали от боли... Оказалось, что эти пятьдесят – шестьдесят белых солдат были частью офицерами, частью – алексеевцами. Пощады им не было ни одному.

Остальных пленных погнали к баржам.

Чобот, пробравшийся со своим эскадром за станицу, проехал до самых камышей, спешил всадников и ждал. От него человек десять разведчиков протянулось, залегло цепью

ближе к станице, и один другому передавал, как идут там дела, что видно, что слышно.

Пока бежали отдельные белые солдаты, Чобот не подымал своих ребят и не тратил зарядов, не обнаруживал своего местонахождения. Правда, отдельные беглецы сами запарывались сюда же к камышам; их без криков задерживали, оставляли у себя... Но лишь только Ковалевская атака решила дело – остатки гарнизона кинулись вон из станицы и прямо на дорогу, к реке, надеясь переплыть ее на лодках и спрятаться на том берегу. В эту минуту эскадрон вскочил на коней и кинулся из-за камышей на бегущих... Произошло что-то невероятное. Белые совершенно не ожидали нападения с этого края. Они шарахнулись в сторону, рассыпались по берегу и в большинстве побежали на то место, где прежде стояли лодки. Лодок не было. Чоботовы ребята увели их на другое место. Бежать было некуда. А всадники метались всюду среди беглецов и безжалостно их сокрушали, не встречая почти никакого сопротивления. Многие бросились в воду, надеясь вплавь добраться до того берега, но мало кому удалось доплыть: наш пулемет шарил по воде и нащупывал беглецов – большинство ушло ко дну Протоки. Возбужденный Чобот носился по берегу, он сам не рубил и не преследовал – только указывал бойцам, куда скрывался, куда бежал кучками ошалелый неприятель. Чобот все видел и разом замечал во все стороны, как метался враг и где он искал спасения.

Словно дикий степной наездник – скакал из конца в конец

с обнаженной шашкой Танчук. Он уже давно потерял шапку, и черные кудрявые волосы разметались по ветру.

Он не знал и не слышал никакой команды, сам выбирал себе жертву и бросался на нее, как коршун, мял и рубил без пощады. И когда уже все было сделано – шальная пуля своего же стрелка перебила Танчуку левую руку. Он не крикнул, не застонал – только выругался крепче крепкого и соскочил с верного Юся. Сеча кончилась...

Сколько побито здесь было народу, сколько сгибло его на дне Протоки – останется навсегда неизвестным. Только отдельные беглецы успели добраться до камышей и спрятаться в них – большинство же погибло во время бегства. Были случаи, когда белогвардейские офицеры переодевались в женское платье, пытаясь таким образом скрыться в камыши, но кавалеристы не пропускали никого, задерживали маскированных и «оставляли» их здесь же на месте. Через два часа станица была в руках красного десанта.

В начале боя с церковной площади поднялся неприятельский аэроплан и полетел в направлении на Ново-Николаевскую², где были расположены белые части. И во время боя и после него из станичных садов и огородов, с чердаков крыш, из-за копен сена и из высокой травы то и дело летели шальные пули; так недружелюбно встречала станица красных гостей.

В этом утреннем бою захвачено было около тысячи плен-

² Верст 25–30 на восток.

ных, человек сорок офицеров, бронированный грузовой автомобиль, пулеметы, винтовки, снаряды, обозы с медикаментами, печати, канцелярии, личные офицерские документы и т. д.

В это время пароходы и баржи подошли к самой станице. Были погружены пленные и трофеи; тут же толпились с носилками раненых красноармейцев, пострадавших большей частью в штыковой атаке.

Дальше было совершенно ясно, что неприятель, получив известие от летчика о катастрофе в тылу, постарается или сняться совершенно, или послать в станицу сильную часть, которая могла бы управиться с красным десантом.

Неприятель выбрал первое: снял с позиции свои части и от Ново-Николаевской (а затем и других пунктов) тронулся на Ново-Нижестеблиевскую, опасаясь быть окончательно отрезанным от моря. Здесь у него была единственная дорога на Ачуев, и он торопился по ней пройти, пока красный десант не закрепился здесь по-настоящему и еще не пополнен новыми, может быть плывущими сзади, частями.

Фронт неприятельский в это время находился по линии станиц: Чертолоза, Старо-Джирелевская, Ново-Николаевская, Пискуново, Башты, Степной и Чурово.

Уже дрогнула неприятельская позиция, снялась она и быстро покатила к морю. Неприятель попятился назад, а тем временем главные наши силы, стоявшие против неприятельских позиций, стали подгонять и колотить отступающе-

го к морю врага. В станице, занятой красным десантом, бой не возобновлялся до тех пор, пока из Ново-Николаевской не подошли новые белые части.

Первыми из них пришли: Сводный Кубанский кавалерийский полк, Полтавский пехотный и Запорожский полки, неизвестная часть генерала Науменко и части кавалерийского корпуса генерала Бабиева, среди которых был и волчий дивизион Шкуро. Красному десанту было чрезвычайно трудно сдержать напор таких крупных сил; его задачей было теперь во что бы то ни стало продержаться до подхода главных своих сил, все время тревожить неприятеля, расстраивать его движение, беспокоить его частичными боевыми столкновениями и держать в напряжении. В полдень, под напором превосходных сил, нам пришлось очистить две крайние улицы, идущие с востока на запад: по этим улицам пошли главные силы неприятеля. Снова завязался бой.

Неприятель ввел в работу два бронированных автомобиля. Но положение его было в общем весьма сложное; напирая на красный десант, он в то же время не мог сосредоточить на нем свое исключительное внимание и дать в станице основательный бой; этого не мог он сделать потому, что по пятам гнали и наседали на него главные наши силы, снявшиеся вслед за ним со своих позиций. Уже слышалась в отдалении, со стороны Ново-Николаевской, артиллерийская стрельба: это били батареи красной бригады, торопившейся объеди-

нить свои действия с действиями красного десанта. Около четырех часов у станицы скопилось много вражеских сил. Видимо, там решено было покончить с красным десантом и сбросить его в Протоку. Неприятель открыл ураганный артиллерийский огонь и цепями пошел в наступление. Это активное и стремительное движение заставило нас попятиться к реке.

Вот красные бойцы оставили поляну, отошли за речку, а неприятель все идет и идет.

Было ясно, что при дальнейшем отступлении десант может погубить себя целиком.

Командир артиллерии товарищ Кульберг уже целых три часа не слезал с дуба. Он примостился там, подобно филину, на верхний сучок, приник потным лбом к сырому холодному стволу и все смотрел в бинокль, как падают наши снаряды. Батарея стояла тут же, в нескольких шагах, и Кульберг с дуба корректировал стрельбу, отдавая команду:

– Трубка сто, прицел девяносто пять... Трубка сто, прицел девяносто семь!..

И когда чудовище ухало, а снаряд с визгом и стоном вырывался из жерла, Кульберг покрякивал и рукой дергался в ту сторону, куда он скрылся.

– Отлично, отлично, – кричал он сверху, – в самую глотку засмолило... А ну, еще такого же... Да живее, ребята, живее... Ишь побежали! – И он взглядом, через бинокль, впился в окраину поляны, где взметнулись столбы пыли, а от них

шарахнулись в разные стороны и побежали люди.

– Еще стаканчик, – продолжал он покрикивать сверху, когда артиллеристы спешно заряжали орудие; один подавал снаряд, другой его загонял в дуло, третий давал удар. Так в лихорадочной пальбе Кульберг забывал о времени, об усталости, забывал обо всем... И теперь, когда неприятель шел в наступление и подходил ближе и ближе к тому месту, где стояла наша батарея, Кульберг и не подумал тронуться, не шелохнулся, словно прирос к дубовому сучку.

Все резче, все порывистей его приказания, все чаще меняет он прицел, громче отдает команду... А возле орудий – запыхавшиеся усталые артиллеристы; еще живее, чаще падают снаряды, бьют по идущему врагу...

На лугу, у выхода к Протоке, там, где сходятся две дороги, неподалеку от камышей были выстроены пулеметы, и пулеметчикам была дана задача – или погибнуть, или удержать наступающие цепи врага.

Пулеметные кони повернуты мордами к реке. На тачанках, за щитами, согнулись пулеметчики. Мы сзади их верхами удерживаем отступающие цепи. Вижу Коцюбенко – он словно припаян к пулемету, уцепился за него обеими руками, шарит, проверяет дрожащими пальцами, все ли в порядке.

Неприятель на виду, он так же неудержимо продолжает двигаться вперед.

Ну, молодцы-пулеметчики, теперь на вас вся надежда: пе-

реживете – удержимся, а не сумеете остановить врага – первые сгибнете под вражьими штыками!

Как уже близко неприятельские цепи! Вот они прорвутся на луговину...

В это время, в незабвенные трагические минуты, когда десант держался на волоске, пулеметчики открыли невероятный, уничтожающий огонь.

Минута... две...

Еще движутся по инерции вражьи цепи, но уже дрогнули они, потом остановились, залегли... И лишь только подымались – их встречал тот же невероятный огонь...

Это были переломные минуты – не минуты, а мгновения. Красные цепи остановились, подбодрились и сами пошли в наступление. Неожиданный оборот дела сбил неприятеля с толку, и белые цепи начали отступать. Положение было восстановлено.

В это время над местом, где находились неприятельские войска, показались барашки разрывающейся шрапнели. Нельзя описать той радости, которая охватила бойцов и командиров, увидевших эти белые барашки от огня своей красной бригады: это свои шли на подмогу, они уже совсем недалеко, они не дадут погибнуть нашему десанту...

Ободренные и радостные, красноармейцы снова начали тревожить проходящие неприятельские войска.

Так продолжалось до самой ночи, до темноты. Пытались было связаться с подходившей красной бригадой, но попыт-

ки оказались неудачными; между десантом и подходившими красными частями были густые неприятельские массы. Плавни и лиманы не позволяли соединиться обходным путем.

Неприятель на ночь решил задержаться в станице, дабы дать возможность дальше к морю отойти своим бесконечным обозам.

Красный десант решил произвести ночную атаку.

За церковью, неподалеку от станичной площади, в густом саду Чобот спрятал в засаду свой эскадрон. Ему опять предстояло лихое дело в новой обстановке, в глухую полночь. Бойцы расположились в траве, лежали молча.

Кони были привязаны посредине сада к стволам черемушника и яблонь. На крайних деревьях, у изгородей – всюду попрятались в ветвях наблюдатели. Чобот ходил по саду из конца в конец, молча посматривал на лежащих бойцов, на коней; проверял сидевших на сучьях дозорных.

Над ручейками и дальше по аллее залегли наши батальоны. Все были уже оповещены о готовящейся ночной атаке. Мы с Ковтюхом лежали под стогом сена, позвали к себе командиров, устроили маленькое совещание. В это время с парохода притащили большой чугунок с похлебкой, – поднялись, уселись кружком, как голодные волки, накинулись на еду: с самого утра во рту не было «маковой росинки». Бойцы, стоявшие возле стога, подвигались ближе и ближе: похлебка

брала свое и притягивала, словно магнит. Только вот беда – ложек нет: двух паршивеньких обглоданных на всех не хватало. Но и тут умудрились: кто ножом, кто деревянной, только что остроганной лопаткой заплескивал из котла прямо в рот. Скоро весь котелок опорожнили начистую. Закурили. Повеселели. Приободрились.

Ровно в полночь решено было произвести атаку, а эскадрону, спрятанному в саду, поручалось в нужную минуту выскочить из засады и довершить налетом панику в неприятельских рядах.

Отрядили храбрецов, поручили им проползти в глубь станицы и в двенадцать часов поджечь пяток халуп, а для большего эффекта, лишь займется пожар – кидать бомбы.

С первыми же огнями должны разом ударить все орудия, заработать все пулеметы, а стрелки, дав по несколько залпов, должны громко кричать «ура», но в бой не вступать, пока не выяснится состояние противника.

Наступили мертвые минуты ожидания. Кругом тишина – и у нас тишина, и у неприятеля. В такую темную ночь трудно было ожидать атаку. Люди, казалось, ходили на цыпочках.

Разговаривали шепотом. Все ждали.

Вот задрожали первые огни, взвились из станицы красные вестники, разом занялось несколько халуп...

В то же время до слуха красных бойцов донеслись глухие разрывы – это наши поджигатели метали бомбы. Что получилось через мгновение – не запечатлеть словами. Ухну-

ли разом батареи, пулеметы заговорили, заторопились, залпы срывались один за другим.

Какое-то ледяное безумное «ура» вонзилось в черную ночь и сверлило ее безжалостно. «Ура... ура...» – катилась на станицу страшная угроза. Неприятель не выдержал, побросал насиженные места и кинулся бежать. В эту минуту из засады вылетел спрятанный там кавалерийский эскадрон и довершил картину. При зареве горящих халуп эти скачущие всадники с обнаженными шашками, эти очумелые, заметавшиеся люди казались привидениями. Неприятель сопротивлялся беспорядочно, неорганизованно; открывал пальбу, но не видал своего врага, пытался задержаться, но не знал, где свои силы, как и куда их собрать. Недолго продолжалась уличная схватка. Станица снова была полностью очищена. Неприятель за окраиной расплылся по плавням и камышам; только наутро собрался с оставшимися силами, но к станице больше уже не подступал, а направился к морю.

Еще ночью, тотчас после боя, в станицу вошли наши заставы, но весь десант вошел туда лишь на заре. Снова была пальба из огородов и садов, снова недружелюбно встречали станичники красных пришельцев...

Когда рассвело, стали собирать и отправлять на баржи новые трофеи: бронированный автомобиль, легковые генеральские машины, пулеметы, траншейные орудия, снаряды, винтовки, патроны...

К этому времени со стороны Николаевской вошла в ста-

ницу красная бригада, – ей и была передана задача дальнейшего преследования убегающего противника. Десант свою задачу окончил.

Весело, с песнями грузились красноармейцы на баржи, чтобы плыть обратно.

Каждый понимал, какое сделано большое и нужное дело. Каждый все еще жил остатками глубоко драматических переживаний...

Суда отчалили от берега... Громкие песни разбудили тишину лиманов и камышей. Мимо этих вот мест, только вчера, на заре, в глубоком сивом тумане, в гробовом молчании, плыли суда с красными бойцами... Еще никто не знал тогда, как обернется рискованная операция, никто не знал, что ждет его на берегу...

Теперь, плывя обратно, бойцы не досчитывались в своих рядах нескольких десятков лучших товарищей.

На верхней палубе «Благодетеля», на койке, лежит с раздробленной рукой бледнолицый Танчук и тихо-тихо стонет. В просторной братской могиле, у самых камышей, покоится вечным сном железный командир Леонтий Щеткин.

Когда вспоминали павших товарищей, умолкали все, словно тяжелая дума убивала живое слово. А потом, когда миновало и молчание, – снова смех, пение, снова веселая радость, будто и не было ничего в эти минувшие дни и ночи.

Москва, 14 ноября 1921 г.